

Конец истории! Да собственно, её
и не было: достаточно послушать
Фоменку, многоумного пройдоху.
Умершие ему не возразят,
а дышащим, которые пока не
утешились эдемскими аллеями, откуда
практически никто не возвращался —
им в лучшем случае забавно, или всё

равно. И ты умрёшь, и он умрёт, и я,
как сокрушался Блок. Велик Создатель,
снабдивший нас врождённым механизмом
спасения от страха смерти (худо-бедно).
Так и скитаемся по винноцветным волнам,
хороним близких, новых рядовых
растим под деревянную гитару,
под песни русские, тоскливые, как вьюга.

Блажен, кто остаётся светлой тенью
в неприхотливой памяти потомков,
и счастлив тот, кто чувствует её
(историю), как шёлковое небо,
как саван фараона, или фантик от «Мишки
на Севере», и в долг даёт с отдачей
в загробном мире, и сдвигает горы:
есть пир ему на празднике земном.

Заброшен сверхъестественною волей
в стремнину времени, как долго я пытался
нащупать в нём опору! Первый снег.
Египетский склонился пивовар
над бочкою. Слепой апостол Павел
руками тычет в воздух. Пушкин просит
морошки. Цыц, Фоменко. Не отдам
тебе истории, живой и беззащитной.

Когда бы знали чернокнижники,
что звёзд летучих в мире нет
(они лишь бедные булыжники,
куски распавшихся планет),

и знай алхимики прохладные,
что ртуть — зеркальна и быстра —
сестра не золоту, а кадмию,
и цинку тусклому сестра —

безликая, но многоокая—
фонарь качнулся и погас.
Неправда, что печаль высокая
облагораживает нас,

обидно, что в могиле взорванной
один среди родных равнин
лежит и раб необразованный,
и просвещённый гражданин —

Дух, царствуя, о том ни слова
не скажет, отдавая в рост
свой свет. И ночь исполосована
следами падающих звёзд.

Смотри, арахна, хитрая ткачиха,
октябрь уж наступил, в лесах светло,
и осень индевеющая тихо
целует землю в жёлтое чело,
и шепчет мне, что смертный жребий мелок,
пора смиряться, счастья нет нигде,
а время — бег вчерашних водомеров
по неподатливой воде.

Я строил мир по плотницкой науке,
соединяя дерево и кость.
Вчера, вчера! Как много в этом звуке
для сердца уязвлённого слилось.
Мы встретимся, но хорошо узнать бы
друг друга, скрипнуть петелькой дверной —
был май, справлявший лягушачьи свадьбы
в излучине речной,

нет, не в лекалах, друг, и не в рейсшинах
блуждает дух, к причастию готов,
а в земноводных песнях, меж кувшинок —
глухих русалочьих цветов.

И даже если рад бы по-другому
(товар лицом, соль, музыка, Господь) —
кому-то жизнь хомут, кому-то — омут,
кому — отрезанный ломоть.

Безденежной зимой, неясного числа, легко поётся.
Не повторяй, что молодость прошла и не вернётся,
не убивайся, мальчик пожилой в домишке блочном.
Спасётся всё, тварь всякая, и Ной в своём непрочном
ковчеге. Зря ли, смертью смерть поправ, как Авель, равен
всей прелести земной расстрелянный жираф, о, Копенхавен?
Вернуться в прошлое, которое ничуть, пока мы живы,
не исчезает. Умереть, уснуть. Конечно, лживы
те утешения. Проснуться поутру, а не присниться.
Чугунны идола на мусорном ветру, подъяв десницы,
зовут куда-то, кулачком грозя.
И трудно жить, и умирать нельзя.

надо мною небо плоско бойко жаворонок вьётся
а внизу картина босха в смысле всякие уродцы
жжёт костры глухая нежить проплывает лентой пёстрой
и друг другу сердце режет саблей обоюдоострой
запах серы тихо тает ночь рыгает жизнь сожравши
впрочем часть из них летает на крылах из чёрной замши
недомузыка кривая так нечисто и нечасто
воют твари раскрывая клювы чёрны и зубасты
да и мы младыми были колеся по русским сёлам
ясных барышень любили песням верили весёлым
и смущался без конца я ну какой простите гений
без улыбки созерцая этих мрачных измышлений

не люблю иеронима небо страшное рябое
плач звезды необъяснимой над фабричную трубою
нет сражусь со смертью-дурой чтобы сердце не уснуло
обнажённую натурой легким томиком катулла

Как клонит в сон! Я книгу выключаю
и предвкушаю, как приснится мне
вода: брусничная, жавелева, морская,
родильная, поющая во тьме —

в ней странствуют таинственные твари,
она для них родимая земля,
гуляют парами, объёмными очами
горят, и, плавниками шевеля,

по кругу ходят. Утихает ругань,
подводный свет слабеет подо мной.
Они жрецы не бога, а друг друга —
как homo sapiens, мятежный и дурной.

Страшилка есть такая: астероид
взорвётся в небе — и придёт кирдык,
планету бурей пламенной покроет
и истребит всяк сущий в ней язык.

Всё сбудется: настанет жизнь другая.
И осьминог неспешно поплывёт
не вдаль, а вглубь, с трудом преодоляя
давление шатающихся вод.

Глебу Смирнову

В аиде скушном, где теснятся тени
котов, героев, высохших растений,
с утра поёт почти что тишина,
и недомысль (гипотеза, синоним
печали вечной) царствует. Хороним
одних, других, а сами допоздна

рассиживаемся, обмирая, перед
пустым экраном — кто, дружок, измерит
размах его крыла? Гори, окно
с крошечным видом на всемирный сумрак,
смущая дев и юношей безумных,
тянись, играй, недетское кино.

А эскулап, товарищ правоведа,
ведёт с авгуром тихую беседу
о свойствах птичьих внутренностей, плах
и топоров. Водицею бесплотной
разбавлено вино, и беспилотный
плутон плывёт в подземных облаках.

Се, вдоль по оттаявшей, пасмурной Лете
листок рукописный плывёт,
а ниже в глухом известковом скелете
большая ракушка живёт.

Ни чайка не съела, ни аист не слопа,
ни щучий зубастый народ.
Питается дафнией или циклопом,
а то и амёбу сожрёт.

Пусть мёртвый над ней проплывает, измучен,
пусть дух от печали зачах.

Не слышит голубушка скрипа уключин
и плакальщиц в белых плащах,

не видно моей философской красотке,
как сумрачно горестный грек
в дубовой, разохшейся движется лодке,
по самой глубокой из рек.

Не спит и не бодрствует в сумрачных волнах
двустворчатых отпрысков мать,
лишь молча умеет личинок безмолвных
в летейские воды пускать.

Когда зевес, с олимпа изгнанный,
разжалованный в львиный зев,
на тощем стебельке колышется
и вспоминает нараспев

свои победы над титанами
(был кипяток — и нет его),
над нимфами над безымянными
(он был большое божество),

как похищал европу жаркую,
пел над эгейскою водой,
где нынче турция, слал молнии,
ругался с герой молодой —

оx, я и сам, лишаясь голоса,
в косяк трамбуя анашу,
уже не чехову, а хроносу
ночные жертвы приношу.

Кто кается, кто дурью мается,
а в греции сыра земля,
и неохотно раскрывается
цветок под тяжестью шмеля.